



УДК/UDC 81:1

DOI: <https://doi.org/10.25206/2542-0488-2026-11-2-124-132>

EDN: XUHLCR

Научная статья/Original article

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА*

Ф. Вайсман

Нью Колледж, Оксфордский университет, Оксфорд, Великобритания

Перевод с английского

В. В. Оглезнев 

Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36

 ogleznev82@mail.ru

В статье критически рассматривается 'лингвистический подход' в философии, ограничивающий исследование анализом словоупотребления. Утверждается, что язык не всегда адекватно отражает реальность и скрывает как рациональные, так и иррациональные элементы. Показывается, что философ должен выявлять глубинные основания, выходящие за пределы лексикографического анализа, и формировать новые категории для описания опыта. Особое внимание уделяется анализу идиом, метафор и научных понятий.

Ключевые слова: лингвистическая философия, язык и реальность, идиомы, метафора, категории, адекватность языка, философия науки

Для цитирования: Вайсман Ф. Лингвистическая техника = Waismann F. The Linguistic Technique / пер. с англ. В. В. Оглезнева. Омский научный вестник. Серия «Общество. История. Современность». 2026. Т. 11, № 2. С. 124–132. <https://doi.org/10.25206/2542-0488-2026-11-2-124-132>. EDN: XUHLCR.



© Оглезнев В. В., 2026.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.

THE LINGUISTIC TECHNIQUE*

F. Waismann

New College, Oxford University, Oxford, UK

Translated from English

V. V. Ogleznev 

National Research Tomsk State University, Lenina Ave., 36, Tomsk, 634050, Russia

 ogleznev82@mail.ru

This article critically examines the 'linguistic approach' in philosophy, which limits research to the analysis of word usage. It argues that language does not always adequately reflect reality and conceals both rational and irrational elements. It demonstrates that philosophers must identify underlying foundations that go beyond lexicographic analysis and develop new categories to describe experience. Particular attention is paid to the analysis of idioms, metaphors, and scientific concepts.

Keywords: linguistic philosophy, language and reality, idioms, metaphor, categories, adequacy of language, philosophy of science

For citation: Waismann F. The Linguistic Technique / trans. from Engl. by V. V. Ogleznev. *Omsk Scientific Bulletin. Series Society. History. Modernity*. 2026;11(2):124–132. <https://doi.org/10.25206/2542-0488-2026-11-2-124-132>. EDN: XUHLCR. (In Russ.).



© Оглезнев В. В., 2026.

The content is available under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

«Мы анализируем не феномен (например, мышление), а понятие (например, мышления), а стало быть, употребление слова» [1, с. 201|§383]. В этом, вкратце, и состоит лингвистический подход. Мои возражения против него следующие: (1) Чтобы увидеть, как слово употребляется, и прежде всего — 'правильно' ли оно употреблено в том или ином конкретном случае, необходимо представить хотя бы некоторые ситуации, где его применение было бы уместным, а для этого нам придется обратиться к самому феномену (например, к мышлению). Одно от другого неотделимо. (2) Анализ употребления слов, каким бы важным он ни был, не всегда позволяет нам продвинуться достаточно далеко. Язык в своем употреблении порой (впрочем, не слишком часто) таит намеки на нечто, что не выносится прямо на поверхность; особенно в случаях, когда речь идет об идиоматическом выражении — прихотливым, произвольным, подчас совершенно непредсказуемым. Оно на что-то указывает, — но указывать еще не значит устанавливать сам предмет или точку зрения на него. Философ должен добраться до того *рационального основания*, которое он (справедливо или нет) ощущает за таким словоупотреблением. Так, современные логики испытали громадный подъем, когда уловили в обыденном употреблении слов 'не', 'и', 'или', 'если' очертания ясной и стройной рациональной схемы и извлекли из этого идею истинностной функции. Это был шаг созидательный, далеко выходящий за пределы простого фиксирования или анализа словоупотребления. Сюда же относятся и удачные находки, вроде различения 'глаголов задачи' и 'глаголов достижений' (Аристотель, Райл¹), избавившие философию от немалых головных болей. И здесь речь идет о проникновении к скрытой идее, объясняющей, почему употребление таково, каково оно есть, и делающей его прозрачным для понимания. Эта рациональная основа никогда не лежит на поверхности: она так глубока, что требует необыкновенной проницательности, чтобы разглядеть ее и извлечь на свет, сделав видимой для всех. Потому-то в философии и возможны открытия — чего никак не признает простой лексикограф. (3) Но даже если признать, что некое слово, скажем, 'достоверный' и 'истинный', или 'верить' и 'знать', действительно употребляется именно так, а не иначе, это вовсе не *обязывает* нас придерживаться такого употребления. Ведь если мы взглянем пристальнее, то обнаружим весьма значительные различия, скрытые под поверхностью, различия, из-за которых язык перестает удовлетворять нас в его нынешнем виде — настолько, что мы, пожалуй, предпочтем иной способ его употребления. Одного лишь фиксирования факта того, 'как люди говорят', явно недостаточно. Лингвистический подход, в конце концов, держится на предположении, что обыденный язык *адекватен*, — предположении, в истинности которого я сильно сомневаюсь. Но чтобы увидеть, адекватен ли язык и, если нет, то в чем именно загвоздка, придется обратиться к самим фактам. Напомню вам о нескольких очевидных случаях.

Считается, что намерения нередко остаются полусформулированными или вовсе не сформулированными, и что, облачая их в слова, мы тем самым делаем их определенными. Это замечание верное и весьма проницательное, однако не основанное на реальном опыте употребления языка. Если взглянуть шире, можно, пожалуй, согласиться с Жан-

Полем Сартром, что «в своей речи мы всегда говорим больше, чем намеревались сказать». (Кстати, именно в этом и состоит трудность философии: как сказать не больше того, что действительно знаешь.) Слова будто бы живут своей собственной жизнью, и поставить их жизнь под наш полный контроль — дело весьма непростое. Это заметит любой, кто посмотрит к идиоматической речи, к 'жизни и духу языка', как говорил Уолтер Лэндор², с ее своеобразными, эксцентричными, порой даже нелогичными оборотами, с ее образными выражениями, смысл которых невозможно вывести из значений составляющих их слов. К примеру, до сих пор остается неясным, даже для специалистов, почему в английском говорят *grass widow* («травяная вдова»), а в немецком — *Strohwitwe* («соломенная вдова»)³. Однако не этот любопытный аспект идиомы я хочу подчеркнуть. Есть и другой, более злобедный. Как заметил Логан Пирсолл Смит⁴: «Выразительность неуместных оборотов... словно свидетельствует о том, что в человеческом уме таится некая нелепость, склонность к нелогичному и абсурдному, нежелание подчиняться разуму — и эта стихия время от времени вырывается наружу, находя себе выход в идиоматической речи».

Как это согласуется с тем, что ранее было сказано о существовании некоего рационального принципа, скрывающегося под поверхностными явлениями? Быть может, никак; и если так, то в человеческой речи, по-видимому, сталкиваются две противоположные силы: одна указывает на действие чего-то разумного, а другая — на бунтующую, лукавую, блуждающую, словно в тумане, стихию (притягательность абсурда). В конце концов, язык создан по образу человека и столь же противоречив, как и он сам. Я все более склоняюсь к убеждению, что в языке действительно есть двойственная природа: напряжение между рациональным и иррациональным, даже антилогическим элементом, который, кажется, получает удовольствие, нарушая законы грамматики и логики, — такое же напряжение, как и в нашем поведении, когда сталкиваются 'разумные' причины и мотивы, желания, склонности, побуждения, приобретенные привычки, внезапные 'иррациональные' порывы и многое другое из того, что на нас влияет. Достаточно упомянуть один знаменательный факт: если бы существовал человеческий язык со строго выверенными грамматическими правилами, без этих 'нелогичных' оборотов, которыми наша речь нередко любит баловаться, без этих случайных отклонений от проторенного пути, без этих искрящихся очагов живого, — он показался бы нам мертвым, как лунный пейзаж, бесплодной пустыней разума и правильности. Разве это не показательно? Однако, по счастью, в языке есть союз разумного и неразумного. Зачем я это упоминаю, станет ясно позднее.

К слову, об адекватности: возьмем выражение 'поток сознания'. Нетрудно вообразить себе интеллектуальную жизнь, текущую подобно ручью. Но стоит мне прислушаться к самой фразе, и я ощущаю неловкость. Образ потока как будто не вполне подходит: ведь, конечно же, не все в нашей душевной жизни пребывает в беспрестанном течении. Напротив, когда внимание сосредоточено на одной мысли, скажем, на какой-то задаче или затруднении, никакого течения нет — есть лишь это одна вещь, проблема, которая возвышается и заполняет все поле сознания. И, право, ничего особенно 'текучего' я не нахожу и в том, чтобы уловить остроту

шутки, рассматривать философский аргумент или искать в нем уязвимые места. Пир разума — это не поток души. Ощущение того, что мы переживаем нечто текучее, куда вероятнее возникает тогда, когда приходится слушать необычайно скучную лекцию, к примеру, рассеянно пялясь на муху (или же в один из тех редких философских моментов, когда вдруг пытаешься ухватить текущее мгновение, задержать его, будто насадить на булавку жука для неспешного разглядывания, — но в итоге остаешься с пустыми руками и кислой миной на лице). Что же до скачков внимания, то они еще меньше вписываются в образ потока. Уильям Джеймс использовал крайне неудачную метафору, уподобив сознание 'реке' или 'потоку' с 'субстантивными' и 'транзитивными' частями, причем последние он толковал исходя из ложного представления о работе языка. (Подобно тому, как есть 'ощущение синего' и 'ощущение холода', он полагал, что существуют 'ощущение *и*' или 'ощущение *если*', составляющие значения этих слов; только уловить их, дескать, нельзя, они слишком скоротечны и неуловимы.) Неудивительно, что была сказана уйма пустяков и о Джеймсе Джойсе⁵, и особенно о Вирджинии Вульф⁶, и о 'романе потока сознания' в целом, который, как утверждается, ярко изображает процесс мышления с его спутанными краями ассоциативных связей, — утверждение, на мой взгляд, ошибочное: ведь все, даже невнятное и безымянное, там превращается в слова и тем самым искажает картину сознательной жизни. Если бы язык, как многим представляется, был чем-то вроде Верховного суда, решения которого не подлежат обжалованию, мне пришлось бы сказать: «Вот вам доказательство: само существование этой фразы и ее хождение в речи есть достаточное свидетельство того, что сознание по самой своей природе есть поток». Удивительно легкий способ исследовать реальность, попросту игнорируя ее! Но (и в этом вся моя мысль) мы ведь не рабы, чтобы смиренно покоряться власти существующего словоупотребления. В данном случае между метафорой и истиной существует, безусловно, некоторое напряжение. Так что, критикуя уместность этого выражения, я не придаю ни малейшего значения действительному употреблению английского; я лишь пытаюсь взглянуть на сами явления свежим взглядом и увидеть, насколько язык совпадает с фактами.

Есть и другая причина, по которой это выражение иногда кажется столь уместным, и связана она с представлением, будто все находится в потоке. Допустим, я смотрю на стоящий передо мной комод; ничего не происходит, по крайней мере, в обычном смысле, все вокруг остается прежним; и все же я странным образом сознаю, что, будучи предельно внимательным, я все время испытываю какое-то изменение, что даже когда я пристально вглядываюсь в комод, мысль все же как будто отстает на шаг, и слова никак не поспевают за ускользающим опытом. Именно это, полагаю, и побуждало некоторых философов начинать философию с некоего невнятного звука, как бы указывающего на ускользающий фокус внимания, не поддающийся членораздельному выражению. В такие моменты *может* показаться, что опыт действительно течет как поток.

До сих пор я говорил об адекватности языка, которую, как я надеюсь показать, совершенно ошибочно принимали как нечто само собой разумеющееся большинство приверженцев лингвистического подхода. Но действительно ли язык адекват-

тен — это можно обсудить, обратившись к другому примеру. Парадоксальным образом бывают случаи, когда ни одно из выражений — ни 'реальное', ни 'нереальное' или 'кажущееся', ни 'существующее', ни 'несуществующее' — не подходит. Примером может служить замедление хода движущихся часов. Некоторыми склонными к мистике людьми оно было воспринято как подтверждение древней идеи, что время 'иллюзорно', 'субъективно', 'нереально'. Другие же настаивали, что время течет равномерно и вовсе не зависит от поведения часов или приборов. С первой точки зрения, замедление часов есть 'видимость', некий фокус природы. Но ничто не может быть дальше от истины. В случае с фокусником вы, как говорится, 'попались на удочку', но если бы присмотрелись внимательнее, то заметили бы, как именно он это делает. Но здесь все иначе. Как бы ни были тщательны наблюдатели, какие бы часы ни брались для эксперимента и как бы хорошо они ни были синхронизированы вначале, результат всегда один и тот же. В этом смысле ничего 'иллюзорного' в замедлении нет. Что же до слова 'субъективный', то оно навевает мысль, будто эксперимент зависит от особенностей склада, вкусов или темперамента наблюдателя, хотя его можно провести вообще без участия человека (например, с помощью самопишущих приборов) и все равно получить тот же результат. Так называемая 'относительность времени' касается лишь нового, ранее неизвестного свойства часов: зависимости их хода от состояния движения. Движущиеся часы идут медленнее, чем находящиеся в покое, — таков итог дела.

Но если замедление не 'кажущееся', значит ли это, что оно реально? Является ли оно, скажем, следствием движения? Для Хендрика Лоренца и других ведущих физиков того времени Земля действительно двигалась сквозь эфир, но действие этого движения — 'эфирного ветра' — должно было компенсироваться укорочением рычагов приборов, предназначенных для обнаружения движения, и соответствующим замедлением часов. С этой точки зрения происходят два процесса, и оба они реальные: (1) движение сквозь эфир и (2) сжатие тел по линии движения вместе с замедлением часов. Они соотносятся между собой как причина и следствие. Если бы не некое таинственное вмешательство в приборы, движение Земли можно было бы легко обнаружить. Но поскольку два процесса настолько тонко сбалансированы и уравновешивают друг друга, никаких следов движения найти невозможно. Все выглядит так, словно сама природа возмужала злым умыслом сорвать любые попытки ученых проложить путь в этом бескрайнем океане эфира. Именно здесь и проявляется сила 'принципа верификации'. Размышляя об этом, мы понимаем, что говорить о движении сквозь эфир или о сжатии и замедлении измерительных стержней и часов можно лишь в том случае, если у нас есть метод (или хотя бы возможность указать его) с помощью которого в любом конкретном случае можно решить, находится ли нечто в таком движении и подвергается ли оно сжатию или замедлению. При отсутствии подобной процедуры мы попросту обманываем себя, когда думаем, что можем приписать ясный смысл подобным утверждениям, каким бы убедительным он нам ни казался из-за их внешней грамматической формы. Когда же сама мысль о эфирном дрейфе отвергается, как принципиально непостижимая, а не просто недоступная техниче-

скими средствами, тогда и весь наш взгляд на вещи неизбежно меняется.

Вернемся к нашему вопросу: является ли замедление часов следствием движения? Чтобы так сказать, нужно предположить, будто замедление — это реальный процесс. Представьте, что ваши часы отстают, вы несете их часовщику, и он говорит вам, что внутрь попала песчинка. В этом случае с часами действительно что-то произошло: песчинка увеличила трение, и ход часов замедлился. Но действует ли движение на часы подобным образом? Повреждаются ли они при движении так, что начинают показывать неправильное время? Разумеется, нет; с идущими часами ничего не 'случается', что могло бы их замедлить, это видно уже из того, что одни и те же часы для одного наблюдателя идут медленнее, а для другого — нет. Если это так, то было бы естественным сказать, что часы 'кажутся' или 'выглядят' замедлившимися. Но тогда спросят: если это только 'кажимость', то в чем же истина? Что же 'на самом деле' происходит? Ответа здесь нет; и нет потому, что сам вопрос выражен в неправильных терминах. Часы *действительно* идут медленнее, но только в относительном смысле — с точки зрения той системы отсчета, которую мы произвольно выбираем. В этом-то и все отличие от часов с песчинкой: там песчинка — это не некий 'относительный песок', она там либо есть, либо ее нет; в случае же, если она там есть, она-то и является причиной замедления хода часов. Однако спрашивать аналогичным образом: «Находятся ли эти часы в движении или нет?», — не уточнив при этом *относительно чего*, попросту бессмысленно. Поскольку 'абсолютного движения' не существует, то есть нет никакого движения относительно пустого пространства (или эфира), его нельзя описывать как причину чего-либо, а значит, и как причину замедления часов. Если же понимать движение в относительном смысле, тогда поиск причины замедления часов в их движении относительно каких-то других часов приводит к парадоксу: в силу полной симметрии их отношений с тем же успехом можно сказать, что именно вторые часы отстают от первых. Понятие замедления столь же относительно, как и понятие движения. Одно и то же тело одновременно находится и не находится в движении — все зависит от выбранной системы отсчета. И то же самое с отставанием часов. Сводить замедление к дихотомии 'реальное или кажущееся' — все равно что насильно втискивать его в прокрустово ложе. На деле же замедление ни реально, ни нереально, ни факт, ни фикция, ни существующее, ни несуществующее. Все эти категории, выкристаллизовавшиеся из обыденной речи, оказываются неспособными справиться с подобной ситуацией.

То же самое справедливо и для движущегося стержня и его сжатия; и, рискуя наскучить, аналогию я могу продолжить. Подобно тому как линкор сжимается между винтами, толкающими его вперед, и морем, которое его удерживает, так, по мысли Лоренца, материальный стержень оказывается сжатым в результате своего движения через эфир. Идея эта крайне неприятная — особенно если учесть, что, достигнув достаточной скорости, стержень должен был бы совершенно сплюснуться, превратившись в 'ширину и высоту без длины', то есть в свое двумерное поперечное сечение. Кажется, будто бы с движущимся стержнем должно произойти нечто по-настоящему устрашающее.

Альберт Эйнштейн, исходя из двух общих принципов, установленных экспериментальным путем, пришел к тем же формулам, что и Лоренц, но без всяких *ad hoc* гипотез. Математический анализ показывает, что, если его предположения верны, движущиеся тела и часы ведут себя так, *как если бы* на них действовала некая искажающая и замедляющая сила. Но смысл, придаваемый этим формулам, теперь совершенно иной. С исчезновением идеи эфирного дрейфа исчезает и мысль о причинном действии движения как о какой-то призрачной силе, способной сжимать тела, замедлять ход часов или устраивать другие проделки: и сжатие, и замедление оказываются всего лишь следствием 'логики измерения', если воспользоваться этим удобным выражением.

И еще одно слово о понятии 'реальное', прежде чем оставить этот вопрос. Допустим, нечто называется 'реальным', и все наблюдатели с этим согласны, например, что два стержня соприкасаются. Реально ли тогда сжатие? Для наблюдателя на земле стержень сжат, для движущегося вместе с ним — нет. В данном смысле оно не реально. Иными словами, если 'реальным' мы называем то, существование чего можно установить экспериментально, тогда сжатие *действительно* реально. Хотя в этом мало утешения: ведь длина стержня *l* при движении, в зависимости от положения наблюдателя (совершенно произвольного), может оказаться *любой* между 0 и *l* — либо даже сразу *всеми* значениями. Называть столь неопределенное явление 'реальным' значит противоречить самому смыслу слова. Следовательно, и это определение не подходит. Описывать сжатие как 'реальное' или 'кажущееся' — значит описывать его неправильно. Так адекватен ли язык?

Подлинная антитеза, лежащая в основе всего этого обсуждения, — это противопоставление 'относительного' и 'абсолютного'. Чисто пространственная дистанция между двумя событиями относительно выбранной системы отсчета, так же, как и чисто временная дистанция, является относительной. Через три года после первой статьи Эйнштейна, в 1908 году, Герман Минковский сделал открытие огромного значения. Если рассматривать все происходящее в обычном пространстве и времени как своего рода 'точки', расположенные в четырехмерном 'пространстве событий', то расстояние между любыми двумя событиями в этом пространстве обладает замечательным свойством — оно 'инвариантно', то есть остается одинаковым для всех возможных систем отсчета. Иными словами, хотя наблюдатели и будут расходиться во мнениях относительно (чисто) пространственных и (чисто) временных интервалов, существует нечто, в чем они сходятся, — нечто ни пространственное, ни временное, недоступное нашей интуиции: 'интервал' между двумя событиями (куда длина и длительность входят, так сказать, на равных правах). Более того, математическая сторона теории относительности обнаруживает полную симметрию между пространственными и временными координатами, указывая на их своего рода глубинное единство. («Что за чепуха!» — проворчал бы философ, — «Время есть время, пространство есть пространство, и никакое открытие этого не изменит».) Таким образом, хотя Эйнштейн установил относительность длины, длительности и ряда других физических понятий (таких как 'одновременность' или 'форма'), Минковский открыл 'абсолютный' мир, стоящий за

всем этим, — поэтому развитие данного аспекта современной физики можно подытожить формулой: 'от относительного к абсолютному'.

При таком взгляде изменения, которым подвергаются (или, как кажется, подвергаются) мерные стержни и часы, предстают в новом свете. Математически формулы Лоренца — Эйнштейна описывают лишь поворот системы координат в четырехмерном пространстве-времени, так что эти странные изменения, которые переживают стержни и часы, соответствуют всего лишь изменениям перспективы. Точно так же, как предмет при движении кажется наблюдателю сжатым, хотя сам он никак не меняется, четырехмерная сущность (например, интервал) остается неизменной, хотя ее перспективы, или, лучше сказать, ее проекции на обычное пространство и время меняются. Иными словами, интервал может быть разложен бесчисленными способами на 'пространство-подобную' и 'время-подобную' составляющие, каждая из которых отвечает определенному способу измерения пространственной и временной дистанции.

С этой точки зрения становится ясным, почему на старые вопросы — «Реальное или нереальное?», «Факт или не факт?» — невозможно дать ответ. Это невозможно потому, что новые категории, более адекватные недавно открытым фактам, разрезают старые. 'Реальность' и 'видимость' — это неподходящие категории; их применение в данном случае порождает лишь путаницу. Здесь уместны иные категории — 'относительное' и 'абсолютное'.

Каждый, кто взглянет на ситуацию непредвзято, согласится, что мы сталкиваемся здесь с совершенно новым явлением — более или менее сознательным формированием учеными новых категорий, новых способов мышления и описания. Возьмем, к примеру, 'абсолютное' в смысле 'инвариантного': разумеется, это не 'естественная' категория, выведенная из форм обыденного языка. Напротив, это одна из тех смелых конструкций, столь характерных для науки, где удивительным образом соединяются воображение редкостной силы, трезвость суждений и математическая точность. И именно эти понятия — 'относительное' и 'абсолютное' — в значительной мере преобразили всю нашу картину мира. Для таких прорывов требуется вовсе не здравый смысл, а скорее 'нездравый'. Несомненно, если бы Эйнштейн или Минковский доверились здравому смыслу, они на каждом шагу увязали бы в его сетях, оказавшись пленниками форм языка — самого воплощения здравого смысла, — и никогда бы не смогли пробиться к радикально новому способу видения мира. А ведь именно это иногда и требуется: покинуть избитые колеи мышления.

Здесь мы выходим еще на один аспект — опасности, неизбежно возникающие, когда язык воспринимается буквально, когда он принимается за чистую монету. Разочарование приходит только через горький опыт. Достаточно вспомнить бесчисленные аналогии, столь естественные для языка, и головоломки, к которым они приводят в философии, наподобие той, с которой столкнулся св. Августин, рассуждая о времени. То, что в своем наивном, произвольном употреблении составляет дыхание языка, становится смертельной угрозой для ясного мышления. И я имею в виду не столько образный строй выражений, сколько куда более тонкий обман, скрытый в том, что понятия преподносятся нам в форме устойчивых грамматических

категорий. Метафору можно отнести или распознать; но грамматические категории пронизывают само мышление.

Это наводит на мысль о вопросе, которого я могу коснуться лишь мимоходом, — каким образом формы языка влияют на мышление. Возьмем, к примеру, случай, когда идея выражается в форме существительного. Это сразу побуждает нас инстинктивно искать нечто, что этим словом обозначено, подобно тому, как за именем всегда стоит конкретный человек. Насколько силен этот порыв искать объект, соответствующий существительному, можно видеть хотя бы из некоторых направлений научной мысли, которые время от времени завладевали умами. Так, силу долго представляли как некую реально существующую сущность, тянущуюся во мраке и готовую сорваться, подобно сжатой пружине, пока люди вроде Густава Кирхгофа и Генриха Герца не показали, что можно построить всю механику, обходясь без понятия силы и связанных с ним трудностей. Аналогичным образом теплу и энергии приписывались свойства вещества — во многом, как можно подозревать, именно потому, что они появлялись в языке в виде существительных. Точно так же, как и 'электрической жидкости', о которой так много говорили во времена Бенджамина Франклина. Правда, были и иные основания: открытие закона сохранения энергии — того, что ее нельзя ни уничтожить, ни увеличить, что ее количество остается постоянным, — сильно поспособствовало взгляду, будто за любыми изменениями скрывается нечто тождественное самому себе, но лишь меняющее свои формы. С этой точки зрения физика предстает не чем иным, как наукой об энергии и ее преобразованиях в новые формы. Возникновение подобной картины мира, несмотря на все ее изъяны (впоследствии она была отвергнута), можно понять лишь учитывая, насколько она пленяла воображение, открывая заманчивую перспективу объяснять все явления природы через некую основополагающую субстанцию и ее изменяющиеся формы. И разве не подобные идеи, лишь частично прикрытые другими, были тем, что привело к предположению о наличии в каждом горячем теле особого 'духа', который вместе с огнем улетучивается, — флогистона?

Возьмем пример попроще. Отчасти сама характеристика пламени, но отчасти и сам язык создают впечатление, будто это — 'вещь' (притом еще и 'живая'). Ведь совершенно естественным было бы сказать, что пламя нужно 'питать', что оно 'выпускает языки' или 'облизывает', что оно 'пожирает' тело и 'умирает'. (А если бы в нашем языке существовал глагол, а не существительное, было бы нам столь же естественным воспринимать его именно так?) И более того, неужели действительно столь несущественно, что в языке есть такие существительные, как 'душа', 'сознание', 'дух', 'я', 'совесть' (полуперсонифицированная как внутренний голос-наставник), 'гений' (с налетом 'демонической одержимости'), рядом с такими словами, как 'голод', 'молния', 'гром', 'дождь', 'ветер', 'ярость', 'судьба', 'время' и т. п.? Все они, в большей или меньшей степени, навязывают толкование в терминах субстанции или движущего начала. (См. Шелли⁷ о вдохновении, Кольриджа⁸ о воображении, Йейтса⁹ об эмоции.) Даже в глаголе 'существовать' слышится легкий оттенок активности, словно сама глагольная форма уже изменила наше восприятие. (См. Хайдеггера о *Huemo* [Nichts].) В этой связи стоит напомнить

и то, что, по мнению Готлоба Фреге, логика занимается исследованием таких вещей, как 'и-ность', 'или-ность', 'если-ность' и т. п., словно это некие сверхчувственные объекты, каждый со строго определенными свойствами. Но разве пошли бы философы, выросшие в языке совсем иного склада, где функции существительного куда менее развиты, по тем же путям мышления? И разве пришли бы они к той же картине мира?

Рассмотрим другие языки, например греческий или немецкий, — там, где благодаря грамматическому роду и, следовательно, легкости, с которой существительные сочетаются с местоимениями 'он', 'она', 'оно', совершенно естественно ожидать, что олицетворяющая и мифотворческая сила будет куда более живой, или, по меньшей мере, ждущей своего пробуждения. Ведь там, где день и ночь, небо и земля именуются 'он', 'она', 'оно', мифическое будет уже всегда под рукой. Так что Фридрих Шеллинг, в конце концов, был не так уж неправ, сравнивая язык с 'выцветшей мифологией'. Слово в таком языке имеет не только значение, но и нечто иное, трудно поддающееся описанию, — атмосферу, смутный ореол или ауру, сотканную из всех тех бесчисленных тропов и оборотов речи, которым оно может послужить или в которые оно органично вплетается. Эту ауру, столь важную для восприятия слов и вместе с тем столь ускользающую, при переводе уловить невозможно. Так, слово 'солнце' является показательным примером: в немецких сказках оно всегда персонифицируется в образе старухи — в силу своего женского рода; для англоговорящего же такое представление совершенно неестественно. По причинам иного рода французский оборот '*le roi soleil*'¹⁰ невозможно передать на английский так, чтобы сохранить естественность этого образа и вместе с ним его ауру. Еще более показательный пример — существительное '*logos*': именно его мужской род был далеко не последним фактором, подготовившим почву для позднеэллинистической интерпретации Сына Божьего. Однако этот аспект, сколь бы важным он ни был, постоянно ускользает из поля зрения при любом анализе 'значения'.

Все мое исследование можно было бы посвятить тому, как некоторые слова, заимствованные из повседневной жизни, обретают метафизический вес. Например: 'Логос', 'Реальность', 'Необходимость', или 'Воля' [*Wille*], 'становление' [*Werden*], 'Жизненный порыв' [*élan vital*], 'тревога' [*Angst*] — термины, имеющие тривиальное применение в обычной речи, но впоследствии вознесенные и наделенные метафизическим статусом. Отсюда и знакомость их склонность балансировать между тривиальностью и новым смыслом, насыщенным глубиной и таинственностью.

Наш предмет, однако, — наука. И здесь следует сказать, что не только части речи — существительное, глагол и т. п. — но и грамматические формы в более широком смысле оказывали на мысль влияние как направляющее, так и сдерживающее. Так, кажется банальностью утверждать, что предикат должен приписывать свойство 'чему-то'. Все это верно, пока мы остаемся в пределах обыденного языка. Но если свет мыслится как совокупность колебаний, следует ли отсюда, что это непременно должны быть колебания 'чего-то'? И все же власть грамматических форм над нашим сознанием так велика, что мы почти неотвратимо склонны к подобному выводу, каким бы обманчивым он ни был. Кажется, именно лорд Солсбери определил эфир

как именительный падеж глагола 'колебаться', тем самым метко обнажив языковую иллюзию, лежащую в основе всей этой концепции. На этом фоне наука предстает в немалой степени как борьба за освобождение от форм, навязанных ей вербальным языком.

До сих пор нас занимало влияние некоторых лингвистических категорий на мышление. Но стоит упомянуть и другой смысл слова 'категория', который приобрел огромное значение в философии. В этом смысле категории (оставим в стороне аристотелевскую точку зрения как менее существенную для настоящей темы) мыслились в качестве предельных форм бытия и мышления. Не будучи лишь лингвистическими, их не следует путать с 'таблицей классификации всех называемых вещей', как это делал Джон Стюарт Милль¹¹ (или, говоря современным языком, с 'логическими типами'). Ключевая мысль здесь иная. Категории — это такие понятия, без которых невозможно упорядоченное единство опыта или постижимая картина мира. Их сила — в их функции: они упорядочивают представления, вносят единство в хаос несвязанных наблюдений, словно то, что мы видим и слышим, есть лишь аморфная масса, нуждающаяся в оформлении с помощью определенных форм мысли, таких как субстанция и причинность. Так, по крайней мере, считали Иммануил Кант и близкие к нему философы. Правы ли они или нет, ясно одно: категории отнюдь не предназначались для роли классифицирующих ярлыков. Теория типов¹², хотя и имеет отдельные точки соприкосновения с категориями, преследует совершенно иные цели: не объяснять опыт, а предотвращать антиномии в логике классов.

Категории же в этом новом смысле (как понятия, необходимые для единства опыта) обладали особым притяжением для философов. Иначе чем же еще можно объяснить их постоянное обращение к этой теме? Возможно, причиной служила ошибочная вера не только в 'правильность', но и в универсальность обыденного языка — и это нигде не проявляется столь явно, как в доверии к применимости категорий в этом новом смысле. Они ведь были выведены (хотя и не вполне ясно как) из таблицы форм суждения, а те, в свою очередь, абстрагированы из обыденного языка — из употребления таких слов, как 'все', 'некоторые', 'если', 'или', 'есть', 'может быть', 'должно быть'. В этом свете 'критическая философия' обнаруживает себя, в конечном счете, как плод еще более глубокого заблуждения — как результат совершенно некритического доверия обыденному языку.

Язык ведь является своего рода ваятелем: он не только высекает отдельные факты из некоего недифференцированного полнокровного целого, но и все наше восприятие этих фактов окрашивает своими способами выражения — тысячами тончайших оттенков. До известной степени язык навязывает нам свои формы восприятия мира. Более того, причуя нас видеть тождественное и различное, вещь и ее свойства, причину и следствие, язык истолковывает мир за нас и придает ему определенную понятность. Все это есть следствие скрепляющих и застывающих форм языка, а также наличия словаря, пригодного для описания, к примеру, причинных связей. В этом месте Кант допустил роковую ошибку: он абсолютизировал формы языка (или, вернее, некоторые из них), объявив их *априорными*, то есть *необходимыми* условиями всякого возможного

опыта. Эти формы, категории, стали рассматриваться как матрицы разума, — или, точнее, лишь нашего человеческого разума, — и потому были окружены особым почтением. (Впрочем, кантовская таблица далеко не полна: там отсутствуют ключевые понятия вроде 'равенства' и 'подобия', 'непрерывности' и 'дискретности', 'конечности' и 'бесконечности', 'вероятности', не говоря уже о других изъянах.) Формы языка (в кантовском или в более широком смысле) действительно работали при описании и отчасти при истолковании явлений внешнего мира. В результате то доверие, которое они заслужили в пределах своего применения, было перенесено и на области, где их уже нельзя было подвергнуть никаким практическим проверкам, — фактически на все сущее. Так возникла философская установка, согласно которой пространство, время и категории каким-то таинственным образом должны быть запечатлены во всем, что только может стать предметом опыта; и потому все, что бы ни стало частью нашего опыта, должно быть выстроенным по вполне определенному образцу. Иными словами, сами факты природы обязаны подчиняться тем законам, которые философ усмотрел в строении мышления или языка.

Многие последователи Канта впали, таким образом, в суеверное отношение к категориям: их стали мыслить как существующие независимо от реального мира и представлять в виде железных — нет, сверхтвердых — оков, в которые навсегда заковано наше мышление. Примером такой безоглядной веры в силу категорий служит утверждение: «Каждое событие имеет причину». Подобное высказывание считалось выражением 'идеальной' или *априорной* истины, которую никакое эмпирическое исследование не может поколебать, ибо она, как утверждалось, основана на 'формах разума'. Следовательно, она должна быть универсальной не только в чувственном мире, но и во всех сферах бытия, и даже в микромире. Эта наивная вера умерла примерно в 1926 году. Понятие субстанции постигла та же участь.

Оглядываясь назад, понимаем, что здесь сходятся две ошибки. Первая из них — собственно кантовская — в том, чтобы проецировать определенные формы языка на реальность; эффект от этого примерно тот же, что и от оптического обмана: мы напрягаем зрение, пытаясь разглядеть то, что на самом деле лишь выгравировано на стеклах наших очков. Вторая — вера в то, что формы обыденного языка, выработанные в практической жизни, окажутся пригодны за пределами своей исходной области применения. Но для этого нет никаких гарантий. Напротив, с появлением новых способов мышления в физике становится очевидно, что наука превосходит все формы вербального языка так же, как превосходит и обыденное мышление.

Совсем иным является другой вопрос, который немало занимал философов: «Что такое рациональное решение?». Было ли, например, рациональным поступком то, что Христофор Колумб, проведя несколько недель в плавании на запад, продолжал свой курс, несмотря на угрозу мятежа и опасность остаться без пищи и воды? Трудность здесь в том, как принимать решение при отсутствии достаточно полных сведений о последствиях возможных альтернативных действий. Итак, как же решать? Главная проблема в том, как взвесить доводы 'за' и 'против', если все они заражены неопределенностью. В последнее время математика попыталась постро-

ить теорию 'рационального выбора' применительно к ситуациям подобного рода. Она выросла из попыток применить общие принципы 'рационального' поведения к играм, основанным на чистой случайности, где в ход идут теория вероятностей и статистические выводы. Можно ли перенести эту теорию на наш вопрос? Ответ зависит от ряда предположений. Прежде всего, необходимо связать с возможным исходом некоторую долю 'удовлетворения' — величину, которая может быть как положительной, так и отрицательной. Но ведь удовлетворение, страдание, риск есть как раз то, что не поддается строгому сравнению, тем более измерению. Дело в том, что такое измерение становится возможным, если принять определенные постулаты. Исходя из этого, даже если Колумб не имел ни малейшего представления о вероятности близости суши, перед ним все равно открывалось несколько линий поведения: он мог бы следовать принципу 'недостаточного основания', принципу 'представь себе наилучший исход' или принципу 'представь себе наихудший исход' (иначе называемому 'минимакс', так как оно сводится к минимизации максимального риска). Если приписать определенные числовые значения для доли 'удовлетворения' возможным последствиям его решения (например, 'перспективе славы', 'перспективе смерти', 'перспективе славы и смерти'), то в первом и третьем случае рационально было бы повернуть назад, а во втором — продолжать путь. Однако, если выбрать другой набор чисел (который можно счесть более реалистичным), результат меняется. При таких предположениях разумнее было бы продолжать путь, независимо от того, какой из трех принципов применяется. Иначе говоря, одно и то же решение может показаться 'рациональным', если исходить из одних предположений, и 'нерациональным', если исходить из других. В применении подобной теории мы сталкиваемся, таким образом, с двойной неопределенностью: во-первых, из-за произвольности чисел, приписанных последствиям (повернуть назад или продолжить путь при наличии или отсутствии суши); во-вторых, из-за того, что существует как минимум три принципа, каждый из которых в какой-то мере имеет основания претендовать на статус 'рационального'. Последнее замечание может показаться странным: неужели нет *одного* принципа, воплощающего саму идею 'рациональности'? Долгое время этот вопрос оставался спорным. Предпринимались попытки вывести логические парадоксы, которые позволили бы устранить один или другой принцип, но все они потерпели неудачу. Однако в этом тоже есть своя польза: ошибаясь и терпя неудачу, ты начинаешь размышлять. Так было и с поисками *такого* 'рационального' принципа. Напротив, утверждалось даже, что разумной может быть 'смешанная' или 'случайная' стратегия, суть которой в том, чтобы предоставить случаю право сыграть роль в принятии решения. Это напоминает древний и по многим причинам почтенный обычай — пересчитывать пуговицы, когда стоишь перед трудным выбором. Более того, можно привести примеры, где такая стратегия (внешне выглядящая как полная противоположность рациональной) приносит лучшие результаты, чем любая 'чистая' стратегия. Одно ее очевидное преимущество, важное для военачальников, состоит в том, что ее невозможно разгадать. Вернемся, однако, к Колумбу. Был ли его поступок 'рациональным' или нет, в конечном счете зависит от предположений, положенных в основу всего рас-

чета. Поскольку ни одно из них нельзя доказать как правильное, да и даже как самое естественное, вопрос не может получить окончательного решения. Уже на первом шаге мы сталкиваемся с неразрешимой проблемой.

Вывод таков: в конкретной ситуации может оказаться невозможным определить, что рационально, а что нет. И этот вывод достигается вовсе не путем анализа употребления языка, а в результате применения математической теории, которая сама по себе лежит вне пределов лингвистического анализа. Я, разумеется, не хочу сказать, что язык на этом этапе вовсе не имеет значения: к нему неизбежно придется обратиться хотя бы при обсуждении рациональности самих принципов. Но и тогда он лишь скользит по поверхности проблемы, оставляя само решение за соображениями совершенно иного рода.

Примечания переводчика

* Данное эссе написано на английском языке, очевидно, после публикации *Философских исследований* Людвиг Витгенштейна в 1953 году.

¹ Это известное различие 'task/achievement verbs' детально обсуждается в *Понятии сознания* Гилберта Райла [2, с. 140–156]. В самом общем виде он его характеризует следующим образом: «Первое большое различие в логической силе глаголов задачи и соответствующих глаголов достижения состоит в том, что с помощью глагола достижения мы утверждаем, что достигнуто некоторое положение дел, а не только осуществлялась (если вообще осуществлялась) направленная на это деятельность» [2, с. 153]. Подробнее об этом различии и его значении для лингвистического анализа, в частности, для наших способов употребления 'глаголов восприятия', см. [3–5].

² Уолтер Лэндор (30.01.1775/17.09.1864) — английский поэт XIX века.

³ Обе идиомы обозначают женщину, временно оставшуюся без мужа (из-за командировки, разлуки и пр.); образы 'травы' и 'соломы' носят в них чисто условный характер и не объясняются значениями слов.

⁴ Логан Пирсолл Смит (18.10.1865/2.03.1946) — американский эссеист и литературный критик британского происхождения.

⁵ Джеймс Джойс (2.02.1882/13.01.1941) — ирландский писатель, автор всемирно известного модернистского романа *Улисс* и экспериментального романа *Поминки по Финнегану*.

⁶ Вирджиния Вулф (25.01.1882/28.03.1941) — английская писательница и литературный критик, долгое время была в составе Блумсберийского кружка, объединявшего ряд видных английских интеллектуалов первой трети XX века.

⁷ Перси Шелли (4.08.1792/8.07.1822) — английский поэт-романтик и писатель.

⁸ Сэмюэл Кольридж (21.10.1772/25.07.1834) — английский поэт-романтик и литературный критик.

⁹ Уильям Йейтс (13.06.1865/28.01.1939) — ирландский поэт, писатель и драматург.

¹⁰ *Le Roi Soleil* (фр. 'Король-Солнце') — прозвище французского короля Людовика XIV (5.09.1638/1.09.1715).

¹¹ Имеется в виду третья глава из *Системы логики* [6, с. 90–108], в которой разбирается аристотелевский список категорий (οὐσία, ποσόν, ποῖον, πρὸς τί, ποιεῖν, πάσχειν, ποῦ, πότε, κεῖσθαι, ἔχειν). Милль считал, что список изначально задумывался как таблица классификации всех поддающихся именованию вещей, и поэтому критиковал его как несовершенный в одних отношениях и избыточный — в других.

¹² Подразумевается теория типов Бертрана Рассела, впервые предложенная им в *The Principles of Mathematics* [7, p. 523–528].

Список источников / References

1. Витгенштейн Л. Философские исследования: в 2 ч. Ч. 1. Философские работы / пер. с нем. М. С. Козловой, Ю. А. Асеева. Москва: Гнозис, 1994. С. 75–320.

Wittgenstein L. Filosofskiye issledovaniya. In 2 parts. Part 1. Filosofskiye raboty / trans. from Germ. M. S. Kozlova, Yu. A. Aseyev. Moscow, 1994. P. 75–320. (In Russ.).

2. Райл Г. Понятие сознания / пер. с англ. Е. Крупениной, В. Селиверстова, Д. Симонова, З. Сокулер. Москва: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. 408 с.

Ryle G. Ponyatiye soznaniya / trans. from Engl. E. Krupenina, V. Seliverstov, D. Simonov, Z. Sokuler. Moscow, 1999. 408 p. (In Russ.).

3. Scheffler I. On Ryle's Theory of Propositional Knowledge. *Journal of Philosophy*. 1968;65(22):725–732. <https://doi.org/10.2307/2023981>.

4. Kremer M. A Capacity to Get Things Right: Gilbert Ryle on Knowledge. *European Journal of Philosophy*. 2017;25(1):25–46. <https://doi.org/10.1111/ejop.12150>.

5. Kalis A. Ryle's Logical Geography of Perception Verbs. *Grazer Philosophische Studien*. 2024;101(2):141–159. <https://doi.org/10.1163/18756735-00000220>.

6. Милль Дж. С. Система логики силлогистической и индуктивной: Изложение принципов доказательства в связи с методами научного исследования / пер. с англ. В. К. Финна. Москва: ЛЕНАНД, 2011. 832 с.

Mill J. S. Sistema logiki sillogisticheskoy i induktivnoy: Izlozhenie principov dokazatel'stva v svyazi s metodami nauchnogo issledovaniya / trans. from Engl. V. K. Finn. Moscow, 2011. 832 p. (In Russ.).

7. Russell B. The Principles of Mathematics. Vol. I. Cambridge: at the University Press, 1903. 534 p.

Информация о переводчике:

ОГЛЕЗНЕВ Виталий Васильевич, доктор философских наук, профессор кафедры истории философии и логики Национального исследовательского Томского государственного университета, г. Томск; ведущий научный сотрудник Горно-Алтайского государственного университета, г. Горно-Алтайск.

SPIN-код: 3701-0936

AuthorID (РИНЦ): 539601

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0287-6543>

AuthorID (SCOPUS): 56307954100

ResearcherID: X-2616-2019

e-mail: ogleznev82@mail.ru

Источник перевода: Waismann F. The Linguistic Technique. Philosophical Papers. Ed. by B. McGuinness. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1977. P. 150–165. https://doi.org/10.1007/978-94-010-1144-0_12.

Ссылка на полный текст эссе: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-010-1144-0_12

Прозрачность финансовой деятельности: автор не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах и методах. Конфликт интересов отсутствует.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

Статья поступила в редакцию 17.09.2025; одобрена после рецензирования 23.01.2026; принята к публикации 29.04.2026.

Information about the translator:

OGLEZNEV Vitaliy Vasilyevich, Doctor of Philosophical Sciences, Professor of the History of

Philosophy and Logic Department, National Research
Tomsk State University, Tomsk; Leading Researcher,
Gorno-Altai State University, Gorno-Altai.
SPIN-code: 3701-0936
AuthorID (RSCI): 539601
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0287-6543>
AuthorID (SCOPUS): 56307954100
ResearcherID: X-2616-2019

e-mail: ogleznev82@mail.ru

Financial transparency: the author has no financial
interest in the presented materials or methods. There is
no conflict of interest.

The author has read and approved the final manuscript.
The article was submitted 17.09.2025; approved
after reviewing 23.01.2026; accepted for publication
29.04.2026.